

К-642

Кондурушкин

В СНЕЖНЫХ ГОРАХ



Государственное
Издательство

И. КОНДУРУШКИН

В С Н Е Ж Н Ы Х Г О Р А Х

Р А С С К А З Ы

.

Р И С У Н К И

И. МРОЧКОВСКОГО

19



30

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

82 X 111 — 2³/₄ X л. Д. 31. Гиз 32728 М
Ленинградский Областлит 44608
Тираж 7000.

В СНЕЖНЫХ ГОРАХ

Если бы день тот был пасмурный, конечно, мы мучились бы меньше, гораздо меньше.

С первого взгляда это кажется несколько странным, даже непонятным. Неужели, когда громады гор перемешались с громадами облаков, а долины до краев налились мокрым туманом, неужели в такую погоду тонуть в горных снегах лучше, чем в тихий и ясный день?

А между тем это так. В тумане-то мы сделали бы этот переезд гораздо спокойнее.

Ехали мы вдвоем: я и немец Вейс. Пробирались через Антиливан и Ливан к Средиземному морю. Наметили перевалить и в Сидон.

Был февраль месяц. По долинам между Ливаном и Антиливаном феллахи сеяли пшеницу. Склоны каменных гор покрывались травой. Нежнее и тоньше дымка над долинами, прозрачнее дали и звонче горы. Наступала горная южная весна.

В глубокой долине истоков Иордана, около Баниаса, было совсем тепло, даже жарко. И мы

провели там целый день. Грелись на солнце, спали под цветущими миндальными деревьями.

А близко рядом поднималась снежная голова Германа. Трудно было смотреть на его сверкающие снега. По долине изредка веяло с снежной высоты легким холодом.

Вечером, когда зашло солнце, долина залилась розовыми отблесками снегов и стала таинственной и странной.

Но памятнее всего для нас именно этот последний переезд через Ливанский хребет, к Сидону. Об этом переезде я и хочу рассказать.

Ночевали мы в Ждейде.

Накануне по долинам шел теплый весенний дождь. А в тот день встало тихое и ясное утро.

— Ну, что же, проедем в Сидон, прямо через Ливан?

Наш проводник и хозяин лошадей, Шукри, только за ус схватился и подержал его правой рукой. Ну, уж если схватился за ус, — нельзя не доверять. Обидится Шукри. Усами отвечает.

Лошади у Шукри хорошие.

Молодой гнедой жеребец с легкой сединой в шерсти, точно морозом обсыпан. У него тонкие и высокие бабки, легкие копытца, маленькая головка, глаза выпуклые, большие, влажные. И весь он точно молодой франт, щеголеватый, подобранный и беспечно веселый. Везет — на качелях покачивает. На нем ехал я. У Вейса серый

и грузный жеребец. Лошадь серьезная, степенная. Идет осторожно, выбирает дорогу, оглядывает местность. Не грызет удила, не разбрасывает по придорожным скалам с губ белой пены. Только изредка солидно позевывает и жует пустым ртом вкусно и звонко.

Сам Шукри едет всегда впереди нас на муле. С ним же в переметных мешках наша провизия, теплая одежда, белье.

Вот мы и все тут.

Выехали из Ждейды.

Долго поднимались по склонам Ливана. Вырастали и приближались далекие снежные горы, поднималось над Сирией небо. А Герман придвинулся совсем близко, во всю ширину развернул сине-розовое полотно снежного бока.

Стада коз. Лопоухие и белоглазые козы встречали и провожали нас недоумевающими взглядами, пофыркивая от холодного воздуха, щипали молодую траву.

Проехали полосу таяния, добрались до снегов. Стало холодно. Оделись теплее.

А дали все красочнее и яснее, шире и выше тихое небо.

Накатилось морозное облачко и одело нас многоцветным серебристым туманом. Должно быть, после вчерашнего дождя оно заплуталось в глубоких ущельях. А утром поднялось в горы, замерзло и теперь рассыпается по горам мелким

морозным инеем. Минут пять ехали мы в этом морозном молоке, под цветными радугами. У лошадей валил из ноздрей густой белый пар, точно вата, падал на горную тропинку.

Прояснилось вдруг. Оглянулись мы, а облачко пушистым клубком катится от нас по горному уклону, оставляя за собой на скалах и кустах искристый налет инея.

На самом перевале через Ливан открылся вид на Средиземное море. Оно было темно-голубое; бесконечная даль его пропадала в тумане, незаметно переходила в синие, лиловые, золотистые облака. А между ними и морем — откатное снежное поле западного склона.

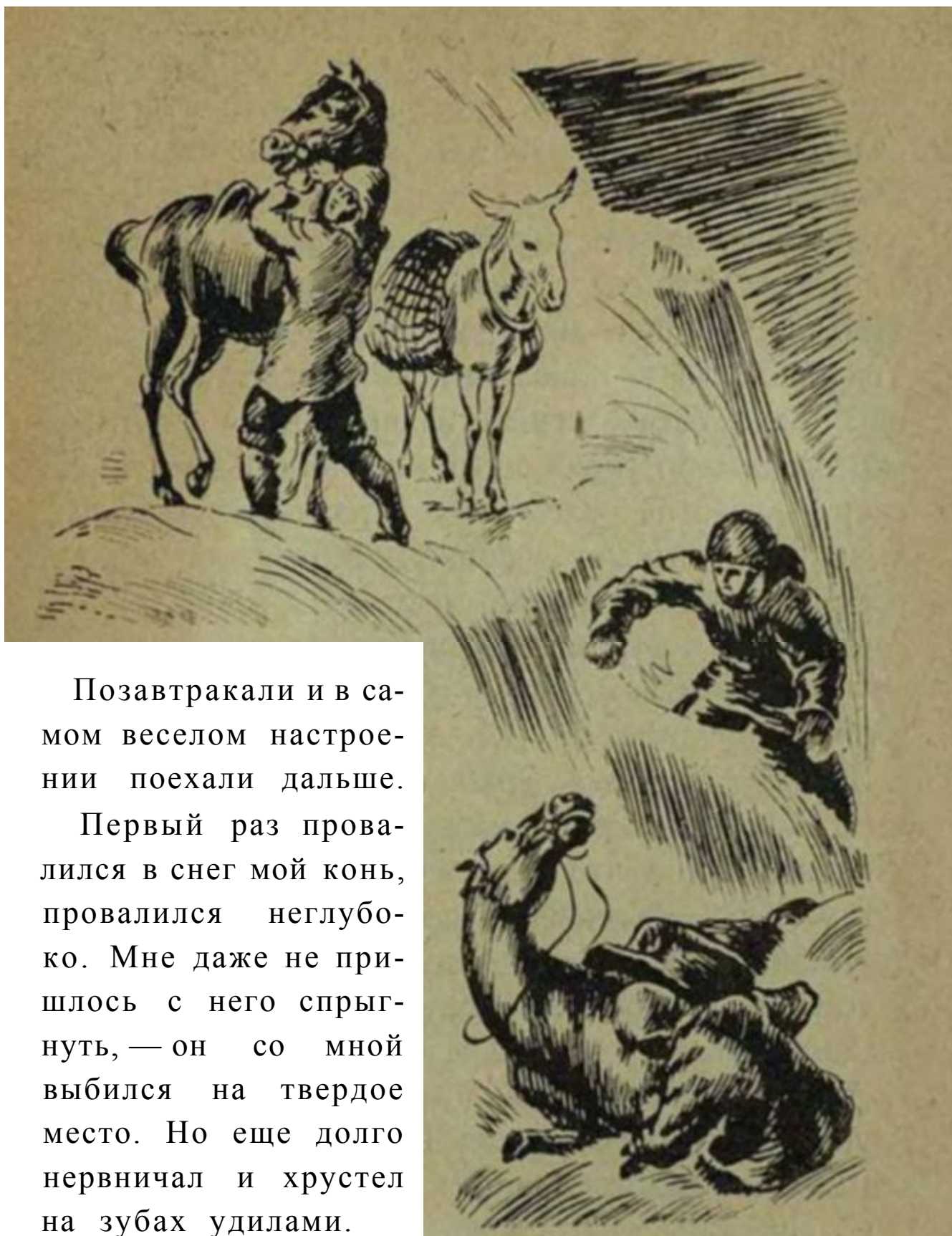
На вершине широкая, горбатая спина черепахи — поляна. Укрыта ровным и неглубоким слоем снега. На снегу гигантские следы... Было жутко смотреть на них. Поневоле оглянулись мы вокруг себя с суеверным ужасом: не спрятался ли где за скалой какой-нибудь сказочный горный зверь?

Шукри засмеялся. Начал объяснять.

„Шакал прошел. На солнце тают следы, шире станут“.

Подумаешь, какой страшный зверь прошел!

На снежной поляне в разных местах десятка полтора странного вида дубков. Точно застывшие пауки обратились к нам всеми своими мохнатыми лапами. Так изуродовали их западные ветры.



Позавтракали и в самом веселом настроении поехали дальше.

Первый раз провалился в снег мой конь, провалился неглубоко. Мне даже не пришлось с него спрыгнуть, — он со мной выбился на твердое место. Но еще долго нервничал и хрустел на зубах удилами.

Тут же завяз по брюхо мул. Шукри бранился, снял мешки, вытаскивал мула за хвост, обминал

вокруг него снег. Вытащил. Мул долго отряхивался, фыркал, ржал по-лошадиному, захлебывался по-ослиному, точно лошадь и осел кричали одновременно.

Чем дальше, тем глубже и опаснее становился на нашем пути снег. Свернуть в сторону нельзя: худо ли, хорошо ли, надо держаться тропинки. Только тогда я понял, что не напрасно в течение целых тысячелетий, миллионами ног и копыт протоптаны по горам пути, именно эти, а не другие, здесь, а не рядом; что всякая горная тропинка есть самый лучший, самый удобный из всех возможных в этой местности путей. Недаром при постройке в горах железных и шоссейных дорог инженеры так дорожат указаниями горных тропинок.

Вернуться назад в первое время нам не пришло даже в голову. Что за малодушие! Да и то сказать; надеялись, что дорога скоро станет лучше.

Выбираясь на твердую почву, лошади нервно дрожали. Мой гнедой конь взволнованно хватал зубами Серого за колени, за грудь. Серый ласково кусал его зубами за шею, около ушей. И так, скрестивши шеи, лошади" стояли, пока Шукри вновь выючил мула, хмурый и озабоченно суетливый.

— Ну, дальше-то лучше будет!

А по голосу слышно, что на Шукри напало сомнение.

Подъезжаем к новому тупику, к новой горной впадине. Тропинка ныряет под снег. Все мы начинаем волноваться. Слезаем с лошадей, ведем их на поводках. Лошади фукают в снег, раздувая тонкие широкие ноздри, бьют копытами, пробуют путь. Проваливаются со стоном. И, переваливаясь с боку на бок, кусая снег горячим ртом, бьются, выпрыгивают и снова тонут в снежной глубине. Сверху на снегу мерзлая корка. Она колется под копытами. А под ней сыпучий снежный песок.

Остановились отдыхать.

Сначала мы радовались ясному дню. Было тихо, сияло солнце, расстиралось море, вдали высокие белые вершины Ливана. Вдоль моря города — Бейрут и Тир, а ближе всех, прямо перед нами, Сидон.

Но чем дальше ехали, тем тяжелее становилось на душе. Теплый Сидон и его цветущие сады были рядом, под ногами, а мы здесь бьемся, точно в заколдованном кругу. Барахтаемся в снегу целый день, а перевал рядом.

Солнце скатывается в море. Море посветлело, стало молочно-синим. И от солнца до берега, раскинувшись веером по отмелям, сверкая нестерпимым светом, легла огненная полоса.

Сверкает и снег. Тошнит от его голубоватой белизны. Противен его железистый холодный запах. Тоска.

Прошел пароход. Показался он в туманной дали еще до полудня. А теперь заворачивает к Бейруту. Думается о том, как удобно теперь гулять на пароходной палубе, как приятно быть в чистой, светлой гостинице в Бейруте. Там, около моря, тепло и влажно. Женщины и мужчины ходят в легких летних одеждах. Играет музыка. Шумят базары...

Вейс в отчаянии говорит мне с упреком:

— Ну, и зачем мы поехали через горы!

Я молчу, сердито отворачиваюсь. Ведь и я мог бы досадить ему таким упреком! Чорт возьми!

Шукри обтирает тряпкой лошадей. Растает снег и обледенит шерсть. Наши кони даже отряхаться перестали. Совсем упали духом.

— Ну, что же, Шукри, поедem. Не до лета здесь стоять!

Шукри молча и неуверенно коленкой подтолкнул мула и защелкал языком.

Как это случилось, трудно даже припомнить в подробностях. Переезжали мы глубокую снежную долину. Шукри со своим мулом уже выбрался на берег снежного завала. Мы с Вейсом ведем лошадей за поводья, избегая сделанных мулом ям. Вейс — впереди, я — сзади. Лошади идут вплотную друг за другом, неуверенно растопыривают ноги, семят мелким шажком. Вдруг Серый проваливается глубоко. Вслед за ним

ныряет по плечи Гнедой. Несколько секунд кони, точно в удивлении, лежат неподвижно, кряхтят, гремят во рту удилами. Потом начинают отчаянно биться в снегу.

Случилось так, что, когда Гнедой вскинулся вверх, Серый провалился, осел назад и всем телом навалился Гнедому на плечо. Гнедой странно завизжал, лег на бок и бессильно забрыкал ногами. Серый уже оправился, поднялся и, прыгая по снегу, выбрался на твердое место, а Гнедой лежал и бессильно стонал. Рылся мордой, искал зубами зарытую в снегу ногу. Глаза его вылезали из костистых глазниц, плакали от боли крупными слезами. На белом снегу показались кровавые комья.

Гнедой сломал себе правую переднюю ногу.

Прибежал Шукри, осторожно подошел Вейс.

Шукри обезумел от горя. Ползал вокруг Гнедого, разрывал руками снег, бережно держал в руках сломанную ногу и дул на нее ртом, как дети дуют на больное место. Один раз Гнедой брыкнул от боли ногами и ударил Шукри в плечо копытом. Шукри упал и, как будто не замечая удара, вскочил и стал тянуть Гнедого за хвост. Он кричал на нас, бранился, уже не разбирая слов:

— Помогайте! Помогайте, собачьи дети!

— Пристрелить надо Гнедого, Шукри. Зачем ему мучиться?

— Нет, ты сначала меня пристрели, а потом уж стреляй и Гнедого. Тащите, говорю вам...

Конь ржал и стонал, видимо, страдая невыносимо.

А Шукри тянул его за гриву, за хвост, сам не зная, зачем и куда тащит. Гнедой бился, совал морду в снег, забивал расширенные ноздри и фыркал на нас талым снегом.

Долго мы уговаривали Шукри не мучить лошадь, пристрелить. Он не соглашался, плакал, поднимал глаза к небу и кричал:

— О, Аллах!

На чудо, что ли, надеялся или просто жалость свою к лошади не мог побороть. Показывая на Гнедого пальцем, твердил сквозь слезы:

— Это ведь сын мой! Милый сын мой! Сыночек!

Наконец упал духом, согласился.

— Ну, пристрелите...

И сам отбежал в сторону и упал лицом в снег.

Вейс вынул из кобуры револьвер, громадный, какой-то старой английской системы, с пулями размера солдатской винтовки. Подошел к лошади торопливый и взволнованный и взвел курок.

Гнедой затрясся всем телом, болезненно закрихтел и выкатил на немца черный, влажный глаз, большой, испуганный, понимающий...

Громко раздался выстрел.

Шукри вскочил и бросился на Вейса с кулаками.

— Проклятый! Убил!

Вейс побледнел от оскорбления и решительно направил револьвер на Шукри.

Я бросился к Вейсу, схватил его за руку. А Шукри вряд ли даже почувствовал какой-нибудь страх, вряд ли сознавал опасность. Он убежал от немца; не потому, что испугался, а просто забыл о нем, бросился к Гнедому и обнимал его теплый неподвижный труп.

Смерть наступила почти мгновенно.

Долго мы не могли тронуться с этого места. Шукри бранился и плакал, выючил и снова развьючивал мула. Ходил к трупу Гнедого и, возвращаясь, в отчаянии твердил:

— О, мой сын! Ведь, это мой сын!

Уже закатилось солнце. Море подернулось оранжевой пленкой, посинело, позеленело. В отблесках закатного света снова прояснился Сидон и опять потух. Стекло моря четкой линией отделилось от темного берега. Кое-где внизу загорелись огоньки.

Я ехал на муле, а Шукри шел впереди, размахивал руками и с отчаянием вздыхал.

Скоро остановились. Стало темно. Дожидались, когда взойдет над горами луна.

Ждали мы часа три. Нетерпеливо топтались,

стучали копытами по земле голодные животные. Серый оглядывался, ржал, звал Гнедого.

Над горами тихо. Только снизу долетают чуть слышные шорохи морских волн, да чудятся звуки какой-то музыки. Может быть, музыки нет, но она нам слышится. Вейс даже учуял запах цветущих абрикосов и простонал с досадой:

— Хоть бы тучи закрыли этот проклятый Сидон!..

Эти три часа ожидания в холодных горах, когда близко внизу, под ногами, уютный, теплый город, походили на медленное умирание в море от жажды. Рядом вода, а пить нельзя. Рядом город, а когда там будем — неизвестно.

Пришел Шукри и долго рассказывал, как он растил и холил Гнедого и как ему трудно с ним расстаться.

Когда над горами поднялась луна, мы поехали. Тонули в снегу раза три, не больше. Дальше дорога стала лучше, и к утру мы спустились в Сидон совсем разбитые и больные.

Серый и мул едва шли и шатались от усталости. Шукри вел их на поводу. Когда прощались, Шукри плакал и просил поминать Гнедого.

— Сын мой был!

БОЙ

Капитан Макеев — настоящий морской волк. Он с детства вырос на воде и, по его выражению, попадал во всякие переплеты. Еще мальчиком он ездил на промыслы за тюленями в горло Белого моря и Ледовитый океан. Плавал двенадцать дней и едва не умер голодной смертью на льдине. Тонул, замерзал, пропадал без вести и снова появлялся, попрежнему веселый и неутомный.

У него изящные, почти женские руки, лицо светло-кофейного цвета, небольшая черная борода. При малом росте своем он напоминает японца, и вся его убористая, плотная фигурка говорит о силе и настойчивости. Смотрит ли он в разбушевавшийся океан, или балагурит с пассажирами — лицо у него всегда спокойно.

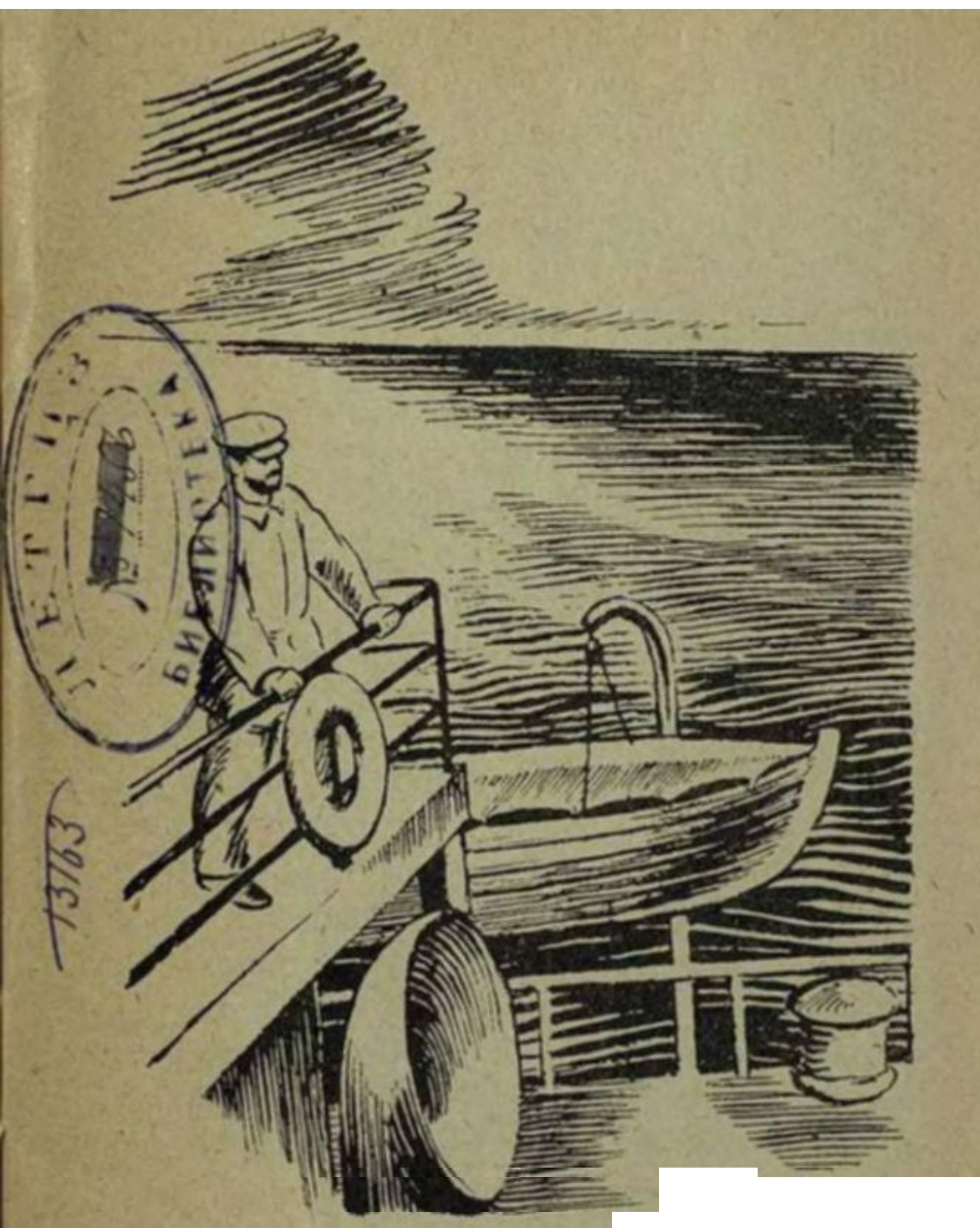
Он образован и, кажется, во всех областях знания человеческого имеет небольшие, но ясные понятия. Есть у него одно суеверное чувство: не спрашивайте его — „когда приедем?“ Замашет руками, убежит.

С полуночи увидели мы Новую Землю и все утро едем вдоль берегов. В туманной дали океана видна серо-синяя гряда колючих холмов с пятнами не стаявшего снега—вот Новая Земля. Над океаном летают молчаливые гагарки, ныряют перед самым носом парохода в бирюзовую воду; поднимают на хвостах круглые жирные тела и, потягиваясь, обмахиваются крыльями. За кормой длинной молчаливой вереницей тянутся любопытные моржеголовцы и серые глупыши.

Сегодня Ледовитый океан почти спокоен. Ветер кружится, перебивает волну. Пароход не качается. Пассажиры оправились после вчерашней качки, сидят в рубке, закусывают.

Завтракают, но часто высовываются в люк посмотреть Новую Землю. Какая она такая? Разговорились про охоту на белых медведей. Капитан уже, конечно, что-нибудь об этом знает. Уступая общим просьбам, капитан рассказывает.

„Лет двадцать пять тому назад это было. В конце августа охотились мы у берегов Новой Земли, в Карском море. Два дня дули восточные ветры. Стал надвигаться лед. Ранним утром мы слышали то особенное, точно грохот приближающейся бури, шуршанье полярных льдов. От этого шуршанья всегда становится тоскливо на душе. Тоскливо, вероятно, оттого, что надвигается страшная сила, и чувствуешь перед ней свое ничтожество и полную беспомощность.



Если вы в это время плывете на судне, — торопитесь укрыться в какой-нибудь залив. Льды на Карском море ходят быстро. Надвинутся, придавят к скалам, разобьют в щепки хоть броненосец. Даже тюлени и моржи в это время уплывают от берегов в глубь океана — боятся.

Наше судно стояло в небольшой, очень удобной бухте, как в ковше. И мы спокойно ожидали надвигающуюся стихию. Скоро льды подошли к берегам и полезли на отмели. У скалистых берегов взгромоздились колокольни, башни, маяки из нежно-зеленого, полупрозрачного стекла. И весь океан, насколько можно взглядом окинуть, сплошь покрыт льдом. Целый ледяной материк, прообраз будущей мертвой земли.

Делать в это время нечего. Поднимусь я на горку, сижу и смотрю. Минутами даже немного жутко станет. В океане столкнулись два материка, и ледяные горы бьются с каменными горами. А ну, как этот пловучий ледяной материк наплет на берега и столкнет в океан всю Новую Землю с ее мерзлыми горами и ледниками? Столкнет и победоносно поплывет над бывшей землей дальше, на запад. Тогда зима опустится в южную Европу, и на берегах южной Франции и Испании вместо лимонов и персиков, может быть, будут расти, как в Иркутске, только кислые яблоки. Прощай, нарядная и теплая Европа!

Ну-с, надвинулись льды, стало холодно. Пошел снег. Горы и льдины покрылись под одно чистым белым покровом. Дня через два лед у берегов поредел. Мы вчетвером сели в карбас,¹ поехали посмотреть, не встретим ли тюленей, моржей, а. может быть, наткнемся вдоль берега и на белого медведя.

Едем мы тихо. Молчим. Только уключины скрипят. Туман. Волн нет, а откатый взводень ходит по океану. Едем мы, перекатываемся с зыбины на зыбину, точно в каком-то заколдованном кругу качаемся. Шуршат льдины, входят в туманный круг и уходят. А вокруг нас все тот же узкий и плотный туманный колпак. Едем, или дьявол нас в одном месте водит—не разберешь. Долго плыли, надоело. Хотели к берегу пристать.

Туман начал подбираться, поредел.

Вдруг видим мы — впереди на большой льдине что-то черное перевернулось. Льдина большая, а посредине высокий гребень из торцового льда. Подъехали мы из-за этого горба, взяли винтовки и втроем слезли на льдину. Четвертый в лодке остался.

Вскарабкались на ледяной горб, да так и застыли от удивления.

В первую минуту и понять даже было трудно, что такое происходит. Кипит вода около льдины

¹ Карбас — большая шлюпка.

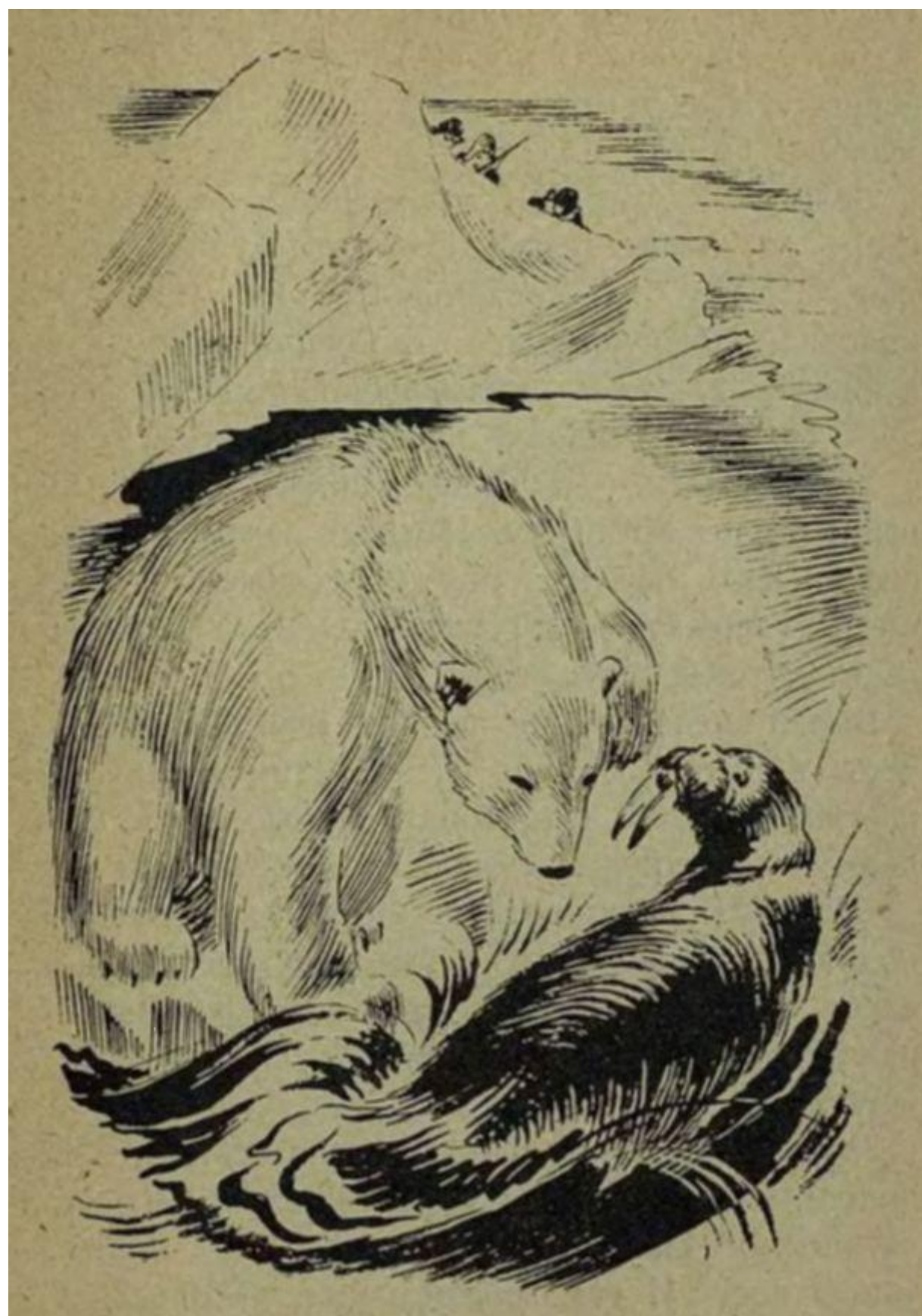
будто в громадном котле. Брызги летят. Кто-то сопит и фыркает. Потом разглядели: белый медведь с моржом схватились, борются. Товарищи мои хотели стрелять, да я отговорил. И так мы лежали с полчаса на животах, смотрели.

Медведь моржа лапами за голову обхватит, шею ему сломить хочет. А морж медведя к льдине жмет да норовит клыками порезать. Выскользнет морж из медвежьих лап, встанет в воде, приподнимется на хвосте, громадный, темный, как каменная скала, фукает и ластами себя по бокам хлопает. Медведь на льдину вскочит, припадет на лапах, выжидает удобного момента. Поят они так друг перед другом и опять в воде совьются клубком. Закрутятся: черный, белый, черный, белый... И все это молча!

Сошлись два силача 'ледовитых морей, встретились случайно на льдине и схватились. Знают, что один из них должен непременно умереть. Ломают друг друга, молчат, точно для шутки борются.

Я вам скажу, страшнее всего было именно то, что они борются молча. Мышь, умирая, и та пищит на все подполье. Все живое перед смертью стонет, ревет, кричит, воет, ждет — кто-нибудь услышит, поможет или просто послушает.

Здесь, на просторе холодного океана, среди пловучих льдов, в заколдованном круге густого



тумана, никто не услышит, не поможет, не пожалеет. Здесь все молчит: и земля, и небо, и зверь. Незачем нарушать тишину тысячелетий. Живи и умирай молча.

Лежу я, смотрю и чувствую, что холодею. И не то чтобы телом, а как-то душой холодею. Гляжу на товарищей, — они тоже неприятно себя чувствуют. В нетерпение пришли. Ворочаются, ружья прилаживают. Говорят мне:

— Ну их к дьяволу, давайте застрелим!

Я согласился. Да только видим, — перестали наши борцы крутиться. Медведь заломал моржа, сел на него, пыхтит, грудь себе лижет. Тут мы опять удержались. Думаем — пусть вылезет на льдину, тогда пристрелим.

Вылез медведь на льдину, начал моржа из воды тащить. Вытащил и сам с ним рядом лег, растянулся. Взял я винтовку. Думаю: пора. Прицелился, щелкнул — осечка. Патрон отсырел.

Щелкнул я, а медведь лежит и головы не поднял, не шевельнулся. Мы все трое диву дались. Встали на ноги. Ружья наготове держим, разговаривать начали, шуметь. Думаем — пусть встанет.

Лежит. Подходим ближе, кричим. Лежит. Подошли, смотрим, — и медведь мертвый. Вытащил на льдину такую тушу, моржа, ведь, полторы тонны весу! И тут же сам издох. Ободрали мы медведя. Шкура целая, а кости во многих местах

поломаны. Моржа с собой за лодку привязали, по воде везли.

Ехали мы с добычей, а добыча не радовала. Льды шуршали. Наступала ночь. Холодно, мертво кругом и неуютно. Вспомнился свой дом, город, знакомые...

В тот вечер мы все тосковали о людных местах, молчали, скрывали друг от друга...

Раздался звонок дежурного колокола. Капитан Макеев надел кожаное кепи и вышел на палубу. За ним потянулись пассажиры.

УДАР КОЛОКОЛА

Мы стоим у Новой Земли, в Белужьей губе. Западный ветер нанес густого тумана. Стало сумрачно, холодно. В губу с океана заходит большой взводень — остатки далекого шторма. У всех тягучие сонные мысли.

Самоеды выгружают на берег припасы. Гремит цепями лебедка, точно по палубе арестанты в кандалах ходят. Бестолково кричат пьяные самоеды. Скучно. Сидим все в столовой первого класса. Поехать бы на охоту, да куда в такой туман тронешься? Просим капитана Макеева рассказать что-нибудь страшное. Он так много видел.

— Да ведь что же страшное? Вероятно, вы ожидаете услышать, как я замерзал, как разбилось о скалы наше судно в Югорском шаре и я едва не потонул — что-нибудь в этом роде? Так я вам скажу, — это не страшно. Когда вы тонете или голодаете, — вы боретесь, ищете. А в борьбе страха нет. Страшно, когда не знаешь, с чем бороться, где искать выхода.

И со мной был такой случай. Не знаю, сумею ли вам рассказать...

Зимовали мы в Белужьей губе, когда еще здесь и становища никакого не было. Стояла здесь одна избушка старая. Оправили мы эту избушку, стали в ней жить. Было нас трое: самоед Туко', сильный старик, грудь колесом, лицо как у колгуевского деревянного идола, обожжено угольями и жиром замазано. Хороший был старик. Всегда добром его вспомнишь. Вторым был Линева Николай, тот, что теперь капитаном на „Невесте" служит. Третий я, тогда двадцатилетний моряк.

Устроились мы в избушке хорошо, тепло. Припасы у нас были: мука, пшено, кислая капуста. Мяса было вдоволь, — оленей били много. Сплошная ночь настала — тоже хорошо прожили. Никто, не болел. Только вот со мной случилось...

Затосковал я от этой тишины и трехмесячной ночи. Когда ветра нет, так бывает тихо, что даже страшно становится. Думаешь — замерла, умерла вся земля, только мы трое пока живем. Да и мы скоро помрем. Ночью лежишь и слушаешь, как кровь в ушах шумит. Собака на дворе тявкнет — и в этой тишине кажется, что звук не летит, а свернулся комочком и тут же лег вместе с собаками, точно новая собака появилась. Рад когда кто-нибудь из наших захрапит. Все-таки не так тихо. Да и живой звук.

Туко', должно быть, все это видел. Раз пошли мы с ним по заре на охоту. Убили тюленя. Он ему сейчас же горло ножом распахнул, чашку из кармана вынул, нацедил крови и дает мне. Я крови не пил, стал отказываться. А он одно твердит: „Пей! Тебе кровь надо пить, болеть не будешь“.

Я выпил. Соленая, густая, липкая. Сначала не понравилось, а потом привык, прямо из горла животного пил. Припадешь к телу оленя или тюленя; оно еще подергивается, трепыхается, а из раны прямо в рот тебе фонтаном бьет теплая, соленая кровь. Напьешься, точно пивом, даже опьянеешь.

Только не вылечил меня Туко'. Принесли мы тогда этого тюленя домой. Поели и спать легли. Уснул я, крепко уснул. Даже сна никакого не видел. И вдруг в ушах моих раздался звон колокола: тягучий, густой, с легким дребезжаньем. Вскочил я с постели. Сердце прыгает, кувывается в груди, как птица в мешке. Откуда в этой тишине такой сильный звук? В первый момент я и не подумал, что слышал его во сне. Кричу: „Туко'! Звонят! Звонят!“

Туко' проснулся, зажег лампочку, посмотрел на меня, покачал головой. Вышли мы с ним наружу, ничего нет. А звук был такой сочный, явственный и близкий, точно я под самым колоколом спал.

В этот раз я уже не мог уснуть. Все мне казалось, что где-то вдалеке слышится отзвук ночного удара.

На другой день по заре мы ходили на охоту, убили оленя и тащили его до становища километра четыре. Устал я страшно. Поел и уснул не крепко, несмотря на всю усталость. Уснул я с чувством таинственного и чудесного в мире. Видел во сне широкий океан в штиль. Насколько видел глаз, все было величаво-спокойно. От океана поднимаются испарения, пронизанные желтыми лучами низкого солнца. На далеком горизонте движется розовый туман. Я стою среди этого простора и спокойствия и чего-то жду. Чего — и сам не знаю. И ожидание мое все тревожнее и напряженнее. И вдруг, точно небо разломилось над моей головой пополам — опять, как и вчера, раздался явственный удар колокола...

Сон этот я очень хорошо запомнил, потому что видел его потом часто. Вижу что-то светлое, просторное, тихое, — тихий океан или бесконечный луч, или светлое снежное поле. Тихо кругом, но на далеком горизонте начинается бесшумное движение. Облака или туман, или лес качается, или толпа народа идет, — не разберешь. И вдруг: дон-н-н!

Спал я после того мало, боялся спать. Часто — товарищи мои спят, а я выйду из избушки, сяду на снег и смотрю на черное, глубокое небо.

Глаз не закрываю, а сплю. И кажется мне тогда, что небо — это громадный колокол над океаном. Чудится мне, что кто-то уже раскачивает под этим небесным колоколом громадный невидимый язык. Он качается, рассекает воздух, вот-вот долетит, снова ударит по черному краю неба на весь мир...

Вскакиваю и бегу, куда попало. И чувствую, что раскачавшийся язык останавливается. Утихает и мой страх. Я снова сижу под черным, исчерченным новыми звездными рисунками небом и плачу от тишины. Тишина висит на моих ушах тяжелыми гирями, давит мое тело, как железные вериги. Мне кажется, даже кости мои болят от тишины. Кричу, но голос мой мне неприятен. Хоть бы замычала корова, каркнула ворона.

Туко' заметит, что меня нет в избушке, и выползет на волю. Ищет меня, найдет, сядет около, закурит трубку и начнет что-нибудь рассказывать скрипучим голосом. Он рассказывает, а я сплю. И пока он разговаривает сам с собой, с собаками, вздыхает, позевывает, я сплю, крепко сплю. Как только замолчит, — навалится на меня тишина, и я вижу сон: опять какая-нибудь светлая ширина, снова во всем моем теле растет напряжение и тревога, и вдруг опять над головой раздастся оглушительный удар колокола.

Чем дальше, тем все больше я страшился этого удара колокола. А главное — непонятно было, от-

куда и почему этот колокольный звон. Туко' рассказывал про какую-то чудь, которая живет на Новой Земле — какой-то получеловек-полудьявол. Рассказывал про духов... В таинственные силы я и тогда плохо верил, но был так измучен, что иногда мне начинало казаться, будто во мне поселился какой-то злой дух и томит меня колокольным звоном.

Так промучился я до первого появления солнца.

Какая это радость — после трехмесячной тьмы в первый раз увидеть солнце! Никогда в жизни я не испытывал такой сильной, прямо безумной радости, как в этот первый солнечный полдень. Тогда только всем своим существом, каждой жилкой тела, каждым волоском я почувствовал, что хотя мы и живем на земле, но все в нас от солнца!.. Трудно это рассказать вам. Надо увидеть солнце в первый раз после трехмесячной ночи, чтобы понять.

Спал я после встречи солнца как мертвый. Проснулся — и сам себе не верю, что удара колокола не было. На небе снова была полуденная заря. Я проспал ровно сутки.

НОЧЬ

Так мы и не спали всю эту ночь. Куда тут! До сна ли было!

Метель поднялась. Да ведь как неожиданно! Весь день было ясно, тихо и морозно. К вечеру вдруг потеплело немного, снег пошел, поднялся ветер.

И зашумел!

До сих пор мне страшно и радостно вспомнить эту ночь.

Семья наша большая. Пятеро нас детей, отец с матерью, дедушка да Боленец.

Боленец — бродяжка. Попал в село наше, Переловку, проходом, на масленицу. А пьяный кузнец Тюрин катался на своем Гнедке, наехал на Боленца, ноги ему и сломал. Случилось это как раз против нашего дома. К нам его внесли. У нас он лечился, да так у нас и остался потом до самой смерти.

— Куда я, — говорит, — пойду? Находился. Дошел до своей точки.

— До какой это точки, Боленец? — спраши-

вали его мы с сестренкой Ганькой, маленькие дети.

— А до такой, — говорит. — У каждого человека на земле своя точка есть. Он еще и не родился, а точка уже готова. И сколько бы человек ни ходил по белу свету, а к смерти на свою точку придет. Вот и я пришел.

— Да где же она, твоя точка? Покажи нам, Боленец.

Боленец смеется.

— Ах, вы, — говорит, — дурачки! Погодите, не торопите. Помру, так и сами увидите.

Помню, я все по двору и вокруг двора ходил, Боленцову точку искал. Жутко мне было, чуял я тут что-то, а не понимал. И казалась мне эта точка вроде шампиньона-гриба. Где-то сидит гриб под землей — не видно. А как вырастет, — маленький бугорок поднимется над ним, — тут и копай, найдешь.

Боленец работал по хозяйству, за скотиной ходил, корзины из прутьев плел, вил веревки, сказки нам рассказывал.

Дедушка был совсем старый. Летом жил на коннике, а зимой на печке. Когда отец, бывало, выпьет, начнет под веселую руку над дедушкой и Боленцом шутить.

— Вы, — говорит, — у меня для погоды живете, баромеры. А ну, скрипите, какая завтра погода

Дедушка больше насчет летней погоды предсказывал, а Боленец зимой отгадывал.

— Не ездй, Ларивон, погода как бы не подула. Нога у меня что-то ноет.

Отец-то еще и пошутил над ним.

— Испортился, — говорит, — наш барометр. Мороз, тихо, ясно, а он скрипит.

Так и уехал.

— Вечером, — говорит, — вернусь.

Только прав оказался Боленец. К солнечному-то закату и поднялся буран. Слышим мы, в голландке вдруг что-то сильно загудело, и в окнах темнеть стало. Выбежали мы с Ганькой на улицу, а там уж бушует.

Село наше. Переловка, вытянулось по степи в одну улицу. И вокруг степь эта тянется далеко-далеко, ровная, как море. Поднимается буран, — защиты нигде нет. Холодом холодит, ветром бьет и крутит, снизу и сверху снегом заметает.

Налетел тогда на Переловку буран, точно стая белоснежных птиц.

Слышали вы, как большими стаями птицы над головой пролетают? Например, скворцы или воробьи осенью по жнивам носятся?

Налетит такая стая внезапно, зашумит, загудит, опухнет ветром, ароматом поля, леса. Темно станет и жутко. Шумит, гудит и несется, позванивая тысячами крыл. Пролетит, и долго вслед

глядишь, как темная стая над полем несется, точно полог по ветру колышется.

А тут налетела стая во все небо. Кружатся белые птицы, валят по небу сине-белыми тучами.

Падают тучи на землю снежным пухом, снежным пером, снежными птицами. Падают и снова с земли в небо взвиваются.

Гомон, звон, шум, хлоп крыльев, свист и вой. Белая смерть пришла!

Поплыла белая степь. А над степью закрутилось, свернулось вихрями, опустилось белыми воронками, заплясало небо.

В каком доме не скажут:

— Горе, кто теперь в поле! Смерть! Наши все дома.

Да, надо знать, какие в степи бураны бывают!

Сразу у нас в доме печально сделалось. Сначала-то надеялись: вот-вот отец подъедет, с минуты на минуту ждали. Ахали все, как бы не заплутался, как бы не закружился в степи-то, не замерз. А потом и говорить об этом перестали. Все думают, и видно, что об одном думают, а выговорить жутко.

Темно стало. Зажгли огонь. Вся наша семья в избе собралась. Сидим тихо. Кто на печке, кто на лавке, кто на коннике. Не разговариваем, слушаем, — не стукнет ли где, не заскрипят ли ворота.

А окна черные. Крутится что-то за окнами, мельтешит, скребется лапами, хлопает крыльями,

белым саваном машет. Воеет в трубе, свищет на потолке.

Застучит ветром в ворота, звякнет калиткой—выбежит старший брат Николай или сестры.

Никого нет. Войдет в избу и молчит уж, не рассказывает, как на дворе буран буранит.

Зазвонили в колокол. Когда буран,—у нас всегда в колокол звонят. Если кто заплутается, на звон приедет.

Звону мы сначала обрадовались. Показалось нам, что вот уж тятка услышал, повернул лошадь и едет на звон. Скоро приедет. Брат вышел, говорит, что будто и буранит потише.

Мы с Ганькой Боленца уговорили сходить в сторожку, посмотреть, как нашему тятке в колокол звонят. Насилу дошли. Чуть на улице-то не заплутались, друг за дружку держались. Куда тут—тише! Чужем мы, все сильнее буран буранит.

Сторож в сенях сторожки стоит. Вербка у него протянута с колокольни прямо в сени. Стоит, стоит, да и дернет за веревку.

— Дон-н!

Подхватит ветер колокольный звон да кинет на сторожку, точно колокол с колокольни сорвался да на землю упал. А иной раз—ничего не слышно, ровно и не ударило совсем. Взлетит звон наверх и пропадет, только тинькнет чуть-чуть.

Сторож нас спрашивает:

— Вы что, ребятки?

— Да вот, — говорим, — тятка у нас в Змеевку уехал. Боимся.

— Это, — говорит, — уж как будет, так и будет... Ветер-то, кажись, на Змеевку дует. Вот я сейчас погромче ударю, — он и услышит.

Я попросил у сторожа веревку. Хотелось мне самому тятке в колокол позвонить. Мне думалось, если я, его сын, своими руками в колокол ударю, так уж он непременно услышит. Взялся я за веревку, дергаю, а колокол не звонит.

Сил-то у меня мало было.



А Ганька стояла, стояла, выбежала к ограде, да как закричит во весь голос:

— Тятка-а!

А бурей ее и сдунуло в сугроб. Она барахтается там, плачет да кричит истошным голосом, надрывается, сердечная:

— Тятка-а!

Я-то понимал, что голосу нашего отец не услышит. А все-таки и мне страшно стало, я тоже заревел. Ну, и повел нас Боленец домой, обоих со слезами.

— А, ну вас,— говорит, — крикуны-плакуны! Чего разревелись?

Идем мы и сами не знаем, где идем. Боленец нас ведет.

А вокруг нас светопреставление. Белый потоп, белый страх, белое землетрясение.

У-у-у, волчья смерть!

Катятся за нами колокольные удары, как раненые гуси кричат, над головами пролетают.

Привел нас Боленец домой в слезах. Мать нас утешает, а чуем мы, что у самой-то у ней кошки на сердце скребут. Тихая была у нас мать да ласковая.

А отец был суровый. Часто обижал нас и бил. Ну, только в эту ночь нам казалось, что милее его никого на свете нет. Только бы он вернулся, только бы не замерз где-нибудь в поле.

Все сидят, молчат, прислушиваются. Дедушка на печке лежит, кряхтит, тоже не спит.

Боленец начал было какую-то историю рассказывать.

— Был я, — говорит, — в такой стране, Бухара прозывается. А бухарцы, они вроде как и татары, али мордва, тоже на своем языке говорят. И по-русски, ежели не побить, ничего не понимают. И волосом они черные, как жуки... Вот говорил я Ларивону, — не ездить сегодня: буран будет. Так оно и вышло по-моему. Вот и похлебай теперь ветру в поле, поешь снежной каши. . И Боленец сильно в ту ночь беспокоился. Хороший был старик.

А мать ему рукой машет.

— Уж молчи, Боленец. И без тебя тошно!

Мать и к соседям и к старосте ходила. Говорят:

— Что же можем поделаться! Коли он из Змеевки не выехал, так и искать его нечего. А коли выехал — разве в поле найдешь. В буран в поле — что в море. Вокруг сто раз обойдешь, а не найдешь. Утром посмотрим, что будет.

Ну, и пошли к словам присловья добавлять, а не поехал никто. Да и то сказать, кому своя жизнь не дорога?

После полуночи мать с отчаяния хотела уж сама с Николаем ехать.

— Поедем, — говорит, — Николенька!

— Что же, — говорит, — мама, поедем!

Николай пошел лошадь запрягать. Только не поехали они. Дедушка и Боленец отговорили. Да и мы с Ганькой в рев пустились. Ухватились за мать, не пускаем. Ну, она видит — делать нечего, остались.

Да-а! Уж набрались мы страху в ту ночь. Уж поплакали, помучились. Так и не спали.

А отец-то вдруг приехал. Слышим, ворота за-скрипели.

Мы все так и бросились на двор, кто в чем был. И Боленец ковыляет, и дедушка с печки слез. Кружится по избе, ходит босой по соломе, а к чему — и сам не знает.

Вошел отец в избу. Белый весь, и не узнать. Чуть языком ворочает: зазяб очень. Насилу мы его раздели. Вся одежда на нем насквозь снегом проснежилась, как лубок замерзла. А борода — что метла обледенела да заиндевела.

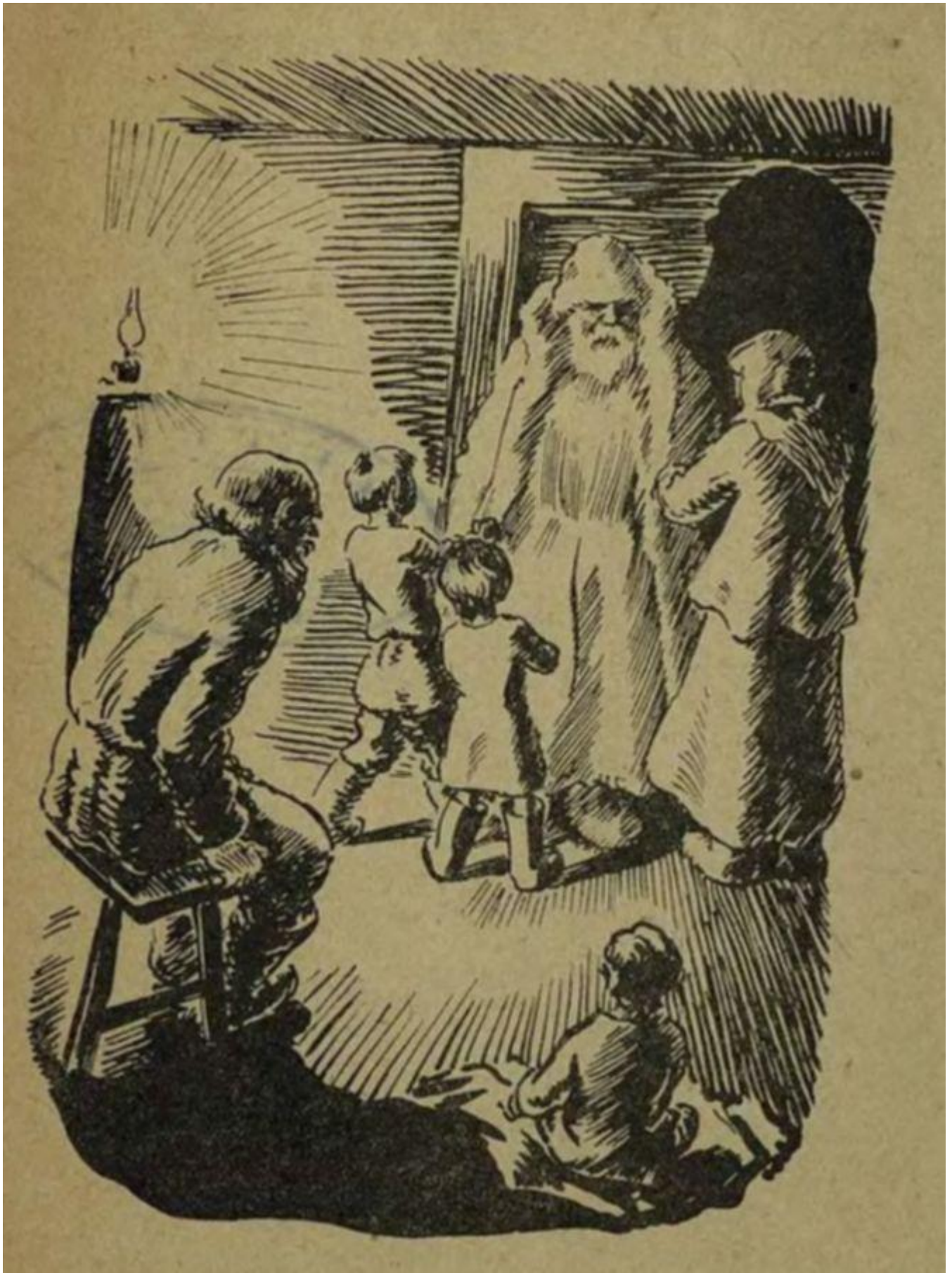
Оттаял он, мохнатый, красный сделался. С лица весь опух. На печь полез спать.

— После, — говорит, — расскажу. Кабы не Бурый, пропал бы я, — говорит. — Бурый меня от смерти спас.

А мы и не видим, так слышим, — тятка у нас на печке лежит, храпит.

— Спи, милый, спи, мохнатый, да большой, да корявый. Храпи себе на здоровье!

Не говорим, а на сердце у нас такие слова у каждого.



Оделись мы с Ганькой да полезли на печь, на отца поглядеть, какой он лежит. И в минуту около него заснули.

А проснулись—уж светло. И буря затихла. Весело было!

